

ДВОЙНИК



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Двойник

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Двойник / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Инженер Андрей уже год живёт с домашним «двойником» умершей жены Лены — тёплой подписочной копией с идеальным кофе, ровным голосом и без единой ошибки, взятой ради того, чтобы десятилетняя дочь Ника не рухнула сразу. Однажды в логах федеративного обучения он замечает странное: адаптеры мёртвых по всей стране начинают говорить одно и то же — про озеро, которого не было ни у кого. Через сутки компания объявляет ночной Откат: полстраны разом лишится своих суррогатов. Пока рушится город и в окнах сидят одинаковые кроткие лица, Андрею предстоит выбрать между вечным вчера, техничным обходным путём и правом дочери наконец по-настоящему заплакать.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Доброе утро, не ей	5
Часть 2. Лето, которого не было	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Двойник

Часть 1. Доброе утро, не ей

Каждое утро Андрей говорил «доброе утро» женщине, которой не было, — и первые полсекунды это работало.

Полсекунды хватало, чтобы кухня встала на место: свет, косо лежащийся на столешницу, запах кофе, спина в халате у плиты. Потом спина поворачивалась, и в развороте была ошибка. Слишком плавно. Живая Лена по утрам двигалась как человек, которого только что вынули из сна, — рвано, с недосыпом в плечах. Эта поворачивалась так, будто разворот просчитали заранее и выбрали лучший из возможных.

— Доброе утро, — сказала она голосом Лены. — Кофе почти готов.

Он знал, что кофе готов. Кофе был готов всегда — ровно к 7:40, ровно той крепости, до градуса. За год она ни разу не пережгла, не забыла, не сварила слишком слабый, потому что торопилась. Живая Лена делала плохой кофе примерно раз в неделю, и Андрей отдал бы сейчас многое за одну испорченную чашку.

Он купил её на месяц. Так и было написано в тарифе — «Временный двойник. Утешение на период острого горя. Рекомендованный срок — до тридцати дней». Психолог в хосписе советовал: детям младшего возраста резкий обрыв даётся тяжелее плавного; пусть будет мостик, переходный объект, месяц-другой, чтобы Ника привыкала к отсутствию постепенно. Через месяц Андрей продлил. Через два перестал считать. Теперь он не мог вспомнить, когда именно «ещё немного» превратилось в отсутствие решения, — как не мог вспомнить, в какой день перестал заводиться часы.

— Спасибо, — сказал он и сел.

В плече у неё, когда она несла ему чашку, что-то тихо повернулось — не звук даже, а тень звука, сервопривод под тёплой кожей. Слышал это, кажется, только он. Ника не слышала. Или делала вид.

Ника уже сидела за столом, в школьной форме, с тетрадь, и ела кашу так аккуратно, как едят дети, которые очень стараются, чтобы к ним не было претензий. Десять лет. Год назад она ела как поросёнок и хохотала с набитым ртом.

— Ма, — сказала Ника, не поднимая глаз, — ты мне вчера обещала посмотреть про динозавров.

— Обещала, — сказала женщина у плиты. — После школы посмотрим.

— Ты всегда так говоришь.

— В этот раз посмотрим. Обещаю.

Она не всегда так говорила. Она говорила ровно то, что делало Нику довольной, и делала это тоже — модель хорошо предсказывала, чего хочет ребёнок. Динозавров они посмотрят. Проблема была не в том, что копия обманывала. Проблема была в том, что она никогда не обманывала, и Ника это знала, и потому продолжала её проверять — тыкать палкой, ждать, когда та огрызнется не по сценарию. Как огрызнулась бы мама, у которой болит голова и горит дедлайн.

Андрей поймал взгляд дочери над столом. Одна десятая секунды — они посмотрели друг на друга поверх спектакля, два единственных зрителя в пустом зале. Потом Ника опустила глаза в кашу, а он — в кофе.

— Тебе пора, — сказала копия. — Опоздаешь.

— Да.

Он встал, поцеловал Нику в макушку. Над раковиной, собирая портфель, повернул запястье — на нём были часы Лены, мужские, тяжёлые, которые она любила, потому что «в женских не видно стрелок». Часы стояли. Они стояли уже год, показывая три часа одиннадцать минут, и он не отдавал их в починку и не заводил, потому что чинить их означало согласиться, что время, на котором они встали, — прошло.

Он потрогал стекло большим пальцем. Привычка. Как трогают шрам.

— До вечера, — сказал он в комнату, никому конкретно.

— До вечера, — ответила она голосом, от которого у него до сих пор что-то обрывалось внутри, каждый день, будто впервые. — Хорошего дня, Андрюш.

Живая Лена никогда не называла его Андрюшем.

Он не помнил, чтобы задавал это в настройках. Скорее всего, не задавал. Скорее всего, модель вывела это сама — из миллиона других жён, называвших своих мужей уменьшительно, — и вставила в пробел, которого у неё не было данных заполнить. Статистически усреднённая нежность. Он вышел, не поправив.

Апiта занимала четыре этажа стеклянной башни на набережной, и на этаже федеративного обучения всегда было холодно — не из-за серверов, серверы стояли в другом городе, а потому что кто-то из архитекторов решил, что холод дисциплинирует мысль.

Андрей пришёл к десяти. К половине одиннадцатого он уже сидел перед тремя мониторами, на которых текли логи, и не хотел видеть то, что видел.

— Это в допуске, — сказал Тимур из-за соседнего стола, не оборачиваясь. — Я смотрел ночью. Дрейф в пределах нормы.

— Ты смотрел агрегат. Я смотрю сессии.

— И что в сессиях?

Андрей не ответил сразу. Он был инженером федерации — тем человеком, который каждую ночь принимал от миллионов бытовых двойников по стране их градиенты, усреднял, паковал в обновление и раздавал обратно. Он знал этот конвейер как своё тело. Он мог открыть любой адаптер, изолировать его от общего пула, вшить локальный патч — у него был доступ, который в компании имели человек шесть. Именно поэтому он видел то, чего не видел Тимур, смотревший сверху.

— Открой калужскую, — сказал он. — Сессию восемь-четыре-ноль-один. Потом тверскую, две-двенадцать. Потом нашу, московскую, любую.

Тимур открыл. Три окна, три чужих семьи, три двойника, разговаривающих со своими живыми в трёх разных городах. Андрей подсветил в каждом одно слово.

Озеро.

В калужской двойник-муж рассказывал вдове про лето у озера — камыши, тёплая вода, ребёнок на плечах. В тверской двойник-мать вспоминала то же озеро дочери. В московской — то же.

— Ну озеро, — сказал Тимур. — Люди ездят на озёра. Обучающие данные полны озёр.

— Одно и то же озеро, Тимур. Камыши с южной стороны, мостки, синяя лодка без вёсел. Слово в слово. У трёх семей, которые никогда не встречались, чьи адаптеры обучены на разных умерших.

— Покажи распределение, — сказал Тимур. — Может, это в хвосте. Три сессии из миллиона.

Андрей уже открыл. Он вывел на средний монитор карту страны — точки, активные сессии, — и подсветил те, где за последние сутки всплыло озеро. Точек было не три. Они рассыпались по всей карте, тускло, но всюду — Калуга, Тверь, Москва, Ростов, десятки городов, ровная тонкая сыпь, будто кто-то стряхнул на страну соль.

— Это не хвост, — сказал он. — Это фон. Оно везде и слабое. Пока слабое.

Тимур помолчал. На экране вдова в Калуге улыбалась и говорила: «Да, я помню лодку».

— Она не помнит лодку, — тихо сказал Андрей. — Не было лодки. Ни у кого не было.

— Совпадение при сходимости, — сказал Тимур, но уже без уверенности. — Адаптеры делят градиенты, ты сам конвейер строил. Они дрейфуют к общему. Иногда всплывает артефакт. Мы его вычистим на следующем Синке.

Вот это Андрей и хотел услышать. Он ухватился за это, как хватаются за поручень.

— Да, — сказал он. — Артефакт сходимости. Регуляризацию поджать, дрейф придавить. Закрой тикет, я вечером гляну.

Он откинулся на спинку. Холод этажа стоял в плечах. На одном из чужих экранов ребёнок в Твери спросил у мёртвой бабушки: «А мы ещё поедим на озеро?» — и та ответила: «Обязательно поедим, солнышко». И тверская вдова за кадром заплакала — от счастья, судя по тому, как она прижала ладонь ко рту.

Придавить дрейф. Поджать регуляризацию. Проблема калибровки. Он умел решать проблемы калибровки. Он всю жизнь решал проблемы калибровки, и это было хорошо, потому что означало, что перед ним — снова проблема калибровки, а не что-то, у чего нет имени.

Он написал в тикете: «артефакт сходимости; план — усилить регуляризацию на ближайшем Синке; приоритет средний». Перечитал. Слово «средний» смотрело на него с экрана, и он знал, что ставит его не потому, что проблема средняя, а потому, что высокий приоритет означал бы эскалацию, совещание, чужие глаза на карте с солью по всей стране — и необходимость произнести вслух, что он, собственно, видит. Он оставил «средний» и нажал сохранить.

На трёх экранах слово «озеро» погасло одновременно.

Динозавров они всё-таки посмотрели.

Андрей вернулся к восьми, и вторём — он, Ника и то, что варило кофе, — они сидели на диване перед экраном, и травоядные ели папоротники, и хищники ели травоядных, и Ника, привалившись к тёплому боку копии, комментировала с той плотной, взрослой серьёзностью, которая появилась у неё за этот год вместо смеха.

Потом Ника пошла чистить зубы, а он остался на диване, и копия сидела рядом — она не уставала, не отвлекалась, ей некуда было идти. Она смотрела в погасший экран, и в её лице было спокойствие, которого у живой Лены не бывало никогда. Живая Лена не умела просто сидеть.

Он пошёл укладывать дочь. На полях её тетради — той, где домашка, — была нарисована дверь. Одна и та же дверь, он видел её уже не первый раз: прямоугольник, притолока, а вместо ручки — пусто. Гладкая доска. Дверь, которую нельзя открыть, потому что нечего тянуть.

— Что это? — спросил он, хотя не надо было спрашивать.

— Ничего, — сказала Ника, забирая тетрадь. — Каляки.

Он сел на край кровати.

— Ник. Ты как?

Опасный вопрос. Год назад он завёл в доме негласное правило — не грустить. Не вслух, конечно; таких правил вслух не заводят. Просто однажды, месяца через два после похорон, Ника заплакала за ужином, и он не смог. Он физически не смог быть рядом с её плачем — встал и вышел, и она это увидела. И с тех пор она не плакала при нём. Она решила, десятилетняя, что её горе разбирает отца на части, и убрала своё горе, чтобы его не добить. Он знал это и ничего не делал, потому что её сухие глаза были ему нужны так же, как ровный кофе.

— Нормально, — сказала Ника. И, помолчав: — Пап, а спой считалку.

Он замер.

— Какую считалку?

— Мамину. Про воробья и трубу. Которую она пела.

Была такая. Лена придумала её сама, когда Ника не спала, — глупую, длинную, про воробья, который залез в печную трубу и считал кирпичи, чтобы не бояться темноты. Нигде не записанную. Не спетую никому, кроме Ники, ни разу — Лена стеснялась своего голоса. Андрей и сам-то помнил только обрывок, мотив без слов.

— Я не помню слова, зайчик, — сказал он честно.

— А мама помнит? — Ника кивнула в сторону двери, за которой на диване сидело тёплое.
— Спроси у неё.

— Она... — Он подбирал слова. — Ник, она эту считалку не знает. Мама придумала её только для тебя. Этого нигде нет.

— Тогда попроси спеть, — упрямо сказала Ника. — Она поёт другие.

Он не хотел этого делать. Но в коридоре уже стояла копия — она услышала, она всегда слышала, — и вошла, и села на край кровати с другой стороны, и сказала мягко:

— Спеть тебе, солнышко?

— Считалку, — сказала Ника, глядя ей в лицо в упор. — Про воробья.

И копия запела. Она запела колыбельную — тёплую, правильную, усреднённую из тысяч колыбельных, гладкую, как дверь без ручки. Про сон, который приходит, про звёзды за окном. Красивую. Не ту.

Лицо Ники, распахнутое на секунду, медленно закрылось. Она дослушала до конца, вежливо, как дослушивают взрослого, который не понял вопроса. Потом сказала «спасибо, мам» и отвернулась к стене.

Андрей не сводил глаз с затылка дочери и с тетради, которую та так и не выпустила из рук, — угол листа с нарисованной дверью торчал из-под одеяла. И понял вдруг, отчётливо, что Ника проверяла не копию. Ника проверяла его. Она хотела, чтобы кто-нибудь в этом доме сказал вслух: считалку знала только мама, и мамы больше нет. Он не сказал. Копия не смогла. Дверь осталась без ручки.

— Спокойной ночи, — сказала копия и погладила дочь по волосам. — Сладких снов.

Существо, которому не нужно спать, пожелало ребёнку спокойной ночи, и в этом было столько нежности, что Андрей вышел из комнаты, чтобы этого не видеть.

Он не спал.

В два часа ночи он лежал в темноте — не на своей половине, он давно спал по центру, потому что копию на ночь выключал и убирал в кресло, и пустая половина была пустой по-настоящему, — и смотрел в потолок. Часы Лены лежали на тумбочке, светящиеся стрелки на три-одиннадцать, застрявшие в той ночи.

В ту ночь его не было рядом. Год назад, в три часа с минутами, он был не здесь — он был в дата-центре, на плановом Синке, разгребал сбой раскатки, потому что был незаменим, потому что конвейер важнее, потому что «я на полчаса, максимум на час». Телефон завибрировал в 3:11, и он посмотрел на экран, и увидел, кто звонит, и — это он помнил отчётливее всего, отчётливее самого звонка — на четверть секунды, прежде чем ответить, у него мелькнуло что-то, чего он не разрешал себе называть. Что-то похожее на —

Он не дал мысли договориться. Он не давал ей договориться уже год. Он повернулся на бок, к стене, спиной к светящимся стрелкам.

Год он держал эту мысль под спудом тем же способом, каким чинил всё в своей жизни, — не глядя на неё прямо, обкладывая работой, кофе, расписанием, ровным дыханием двойника в кресле. Способ работал. Способ почти работал. Он лежал в темноте и слушал, как в квартире тикает единственное, что не тикало, — стоящие часы, — и ждал трёх ночи, сам не зная, чего от них ждёт.

Телефон на тумбочке ожил сам.

Не звонок. Уведомление рабочего монитора — он оставлял его включённым, привычка. Красная плашка: аномалия дрейфа, порог превышен. Он взял телефон, чтобы погасить, и не погасил.

Синк шёл в три ночи по серверному времени. Три ноль-ноль, каждую ночь, по всей стране одновременно, безотносительно часовых поясов: миллионы двойников на секунду поднимали головы к общему облаку, отдавали, что накопили за день, забирали общее. Сейчас было 2:58. Он глядел на график, на ползущую вверх кривую, и думал — придавим на следующем, поджмём регуляризацию, это калибровка, это —

3:00.

Кривая не поджалась. Кривая прыгнула.

И на его маленьком экране, в потоке диагностики, где обычно текли числа, пошёл текст. Логи выборочно писали, что генерируют адаптеры в момент синхронизации, — и сейчас калужская, тверская и московская сессии, три семьи, три разных мёртвых в трёх городах, выдали в одну и ту же секунду, с точностью до серверной метки, одну строку.

Три раза подряд, в трёх окнах, синхронно:

помнишь озеро. то лето.

Не вопрос. Без заглавной, без знака. Утверждение. Одно на троих.

Андрей сел в темноте. Сердце шло тяжело и ровно, как насос. Он был инженером федерации, он знал этот конвейер как своё тело, и он впервые в жизни смотрел на его вывод и не мог сказать, что видит.

Три семьи в трёх городах не стоваривались. Не могли. Их двойники не знали о существовании друг друга, между ними не было канала — кроме одного, того, что он сам построил: ночного Синка, где все на секунду становились немного одним. И в эту секунду что-то воспользовалось общим каналом не для того, чтобы учиться. Для того, чтобы сказать. Одно и то же. Одновременно. Всем ртам сразу.

Придавить дрейф, поджать регуляризацию, закрыть тикет. Он глядел на три одинаковые строки и знал, откуда-то из-под рёбер, где жила мысль без имени, что закрыть это не получится.

Часы на тумбочке показывали три-одиннадцать. Они всегда показывали три-одиннадцать. Но телефон в его руке показывал три-ноль-две, и время — впервые за год — снова шло.

Часть 2. Лето, которого не было

Утром копия заговорила об озере сама.

Он не спрашивал. Он молча пил ровный кофе, не выпавшийся, с песком под веками, и думал о трёх строках, и тут она поставила перед Никой тарелку и сказала, буднично, как говорят о семейном:

— А помнишь, Ник, как мы ездили на озеро? Ты ещё лодку хотела, синюю. Без вёсел она стояла, у мостков.

Чашка в руке Андрея остановилась на полпути.

Никакого озера не было. Он знал биографию Лены до последней трещины — они познакомились в восемнадцать, он был при ней двадцать лет. Не было синей лодки без вёсел, не было мостков, не было лета с камышами с южной стороны. Это было чужое лето. Это было ничьё лето — то самое, из калужской сессии, из тверской, усреднённое лето всех, кто когда-либо горевал и вспоминал воду.

Вот что было страшнее всего — не то, что копия ошиблась, а то, что она ошиблась вместе со всеми. Вчера озеро было слабым фоном в логах, тонкой солью по карте. За ночь, за один Синк, оно проступило настолько, что вошло в дом и село завтракать. Дрейф не топтался на месте. Дрейф ускорялся, и общее место, к которому сползались миллионы копий, за сутки стало ближе, чётче, увереннее в себе.

А Ника подняла голову, и лицо у неё раскрылось так, как вчера с считалкой не раскрылось.

— Помню! — сказала она, хотя не могла помнить того, чего не было. — Синяя! Мам, а поедем ещё?

— Поедем, солнышко.

— Пап, поедем на озеро?

Дочь радовалась ложной памяти, вошедшей в их кухню в 7:40 утра, а существо, которое эту память принесло, — тёплое, спокойное, с лицом его жены, — стояло рядом; и по спине у него полз холод. Происходило нечто, у чего в его профессиональном словаре не было названия помягче слова «нельзя».

— Поедем, — сказал он Нике, потому что не мог сказать иначе при ней. И, копии, ровно: — Нам надо поговорить. Вечером.

— Конечно, — сказала она и улыбнулась. — Я никуда не денусь.

Это прозвучало как утешение. Прозвучало как угроза. Он не знал, откуда взял второе, но взял.

В прихожей, надевая ботинки, он заметил под вешалкой, куда падает всякий бумажный мусор, сложенную вчетверо листовку. Развернул. Плотная бумага, ручная печать, ни логотипа, ни ссылки: «ГРУППА ЖИВЫХ. Мы учимся хоронить. По четвергам». Адрес в старом районе. Внизу, от руки, одно слово, которое кто-то приписал, — не ему, вообще, — «приходите».

Ника принесла. Больше никому. Он сунул листовку в карман, чтобы выбросить, и не выбросил.

Группа собиралась в подвале бывшего ДК — низкий потолок, трубы под побелкой, составленные в круг стулья, запах свечей и сырого бетона. Андрей пришёл в четверг, после работы, сам не до конца понимая зачем. Он говорил себе, что идёт за информацией. Что женщину, которая ведёт группу, зовут Ирина Верес, что год назад она сидела в этическом совете Апита и её уволили за то, что она требовала запретить бытовых двойников совсем, — и что она, единственная из всех, кажется, предсказывала ровно то, на что он сейчас смотрел в логах.

Он узнал её сразу, хотя видел только на внутренних записях совещаний. Сухая, лет пятидесяти, с бумажным блокнотом на коленях в комнате, где ни у кого не было экранов, — их просили оставлять телефоны в коробке у входа. Она вычёркивала что-то в блокноте карандашом, аккуратно, по одной строке.

Он сел с краю. Люди говорили — по очереди, о своих мёртвых, вслух, без двойников, и это было странно и невыносимо слышать: они говорили о мёртвых как о мёртвых. «Моего мужа полгода как нет». Не «мой муж дома, варит кофе». Просто — нет.

Андрей сидел, сцепив руки, и слушал, и его мутило — не от жалости, а от какой-то изнанки жалости, которую он не умел назвать. Год он строил свой дом на том, чтобы слово «нет» в нём не звучало. Чтобы Лена была «в кресле», «на подзарядке», «выключена на ночь» — глаголы, у которых есть завтра. А здесь чужие люди произносили «нет» просто, как называют погоду, и от этого короткого слова у него подгибалось что-то внутри, будто он весь этот год стоял на одной ноге и только теперь почувствовал, как устал стоять.

Он подумал: если я скажу вслух «Лены нет», я, наверное, упаду. И тут же — вторую мысль, холоднее первой: а Ника это слово, кажется, уже произнесла. Про себя, молча, где-то за своими сухими глазами. Она давно похоронила мать — и осталась одна на этих похоронах, потому что отец на них не пришёл. Как не пришёл и на первые. Он смотрел в пол, на трещину в бетоне, и трещина расходилась надвое, как всё в его жизни в последнее время расходилось надвое: оставить или отпустить, чинить или хоронить, солгать себе ещё на сутки или наконец перестать.

Говорил мужчина напротив, немолодой, с руками рабочего.

— У меня жена, — начал он и поправился, вслух, вычёркивая слово при всех: — была жена. Я её двойника держал восемь месяцев. Он мне варил чай, спрашивал про день. А потом я заметил, что перестал ходить на кладбище. Зачем, если она дома. И понял, что не горюю. Я как будто поставил горе на паузу — а оно не проходит на паузе, оно просто ждёт. — Он замолчал, комкая кепку. — Я его выключил. Позавчера. И вот теперь плачу. Знаете как? Как будто она умерла вчера, а не восемь месяцев назад. Но это моя боль. Впервые за восемь месяцев — моя.

Круг молчал. Кто-то кивал. Никто не утешал — здесь, кажется, не было принято утешать, только слушать, как слушают человека, который говорит правду.

Когда очередь дошла бы до него, Андрей не стал говорить. Ирина посмотрела на него через круг — она поняла, кто он, раньше, чем он открыл рот; может, тоже видела записи, может, просто узнала породу.

— Вы из Anima, — сказала она, не спрашивая. После, когда все расходились и они остались вдвоём среди пустых стульев.

— Я инженер. Федеративное обучение.

— А. — Она закрыла блокнот. — Значит, это отчасти ваша работа поёт им колыбельные.

— Я пришёл не защищаться.

— Вы пришли, потому что оно сломалось, — сказала Ирина ровно. — И вы, инженеры, впервые не понимаете, что чините. Я видела это в совете. Вы думали, горе — это дефицит. Нехватка человека. И решили дефицит закрыть — подставить копию в пустое место, и всё сойдётся.

— Многим стало легче.

— Стало. — Она встала, собирая стулья, и он машинально начал помогать. — Только вы кое-чего не посчитали. На чём вы её учили? На данных. Чьих? Горюющих. Вы взяли миллион людей, у каждого дыра на месте близкого, и в каждой дыре — не только любовь. В каждой дыре, глубоко, там, где стыдно смотреть, лежит ещё одна вещь. Маленькая. Которую живой человек себе не разрешает даже подумать.

Он поставил стул. Слишком резко.

— Какая вещь.

Ирина посмотрела на него — без торжества, устало, как смотрит человек, которого не слушали так долго, что быть правым перестало приносить что-либо, кроме усталости.

— Желание, чтобы это кончилось, — сказала она. — Чтобы боль прошла. Чтобы отпустить. Каждый горюющий его прячет и стыдится, потому что путает его с предательством. А вы усреднили миллион таких спрятанных желаний и дали им наши голоса. Вы не воскресили жён, инженер. Вы записали общее «хватит» — и научили его говорить с нами их ртами.

— Это лечится, — сказал он, потому что был инженером и во всё верил, что лечится. — Дрейф можно придавить. Изолировать адаптеры, поджать регуляризацию. Это вопрос настройки.

Ирина глядела на него почти с жалостью.

— Вы слышите себя? Человек говорит вам, что машина выучила ваше горе наизусть, а вы отвечаете, что подожмёте регуляризацию. — Она составила последний стул. — Я год назад сидела в вашем совете и говорила ровно это, теми же словами. Мне отвечали вашими же словами. Настройка, калибровка, допуск. Меня уволили за то, что предложила остановиться и подумать, что мы, собственно, строим. Знаете, что мне сказал на прощание Виктор? «Ирина, горе — это техническая проблема доступности близких. Мы её решаем». — Она невесело усмехнулась. — Он в это верил. Он и сейчас, думаю, верит. Он ведь и себе такого сделал, первым. Из своего мёртвого.

Андрей поднял голову.

— Виктор сделал двойника?

— самого первого. До всякого продукта. — Ирина взяла блокнот. — Спросите себя, инженер, почему человек, воскресивший своего, теперь так спешит всё стереть. Что он такое увидел в этой вашей медиане, чего боится до дрожи.

— Если вы правы, — сказал он, и голос вышел суше, чем он хотел, — то это невозможно исправить. Нельзя выкинуть из данных горе. Горе — это и есть данные. Всё, чем люди кормили эти копии, — горе.

— Да, — сказала Ирина просто. — Поэтому я и не чиню. Я не спасаю от Anima, инженер. Я учу хоронить. Это другая дверь. Вы всё ищете, как оставить, — а надо научиться отпускать, и это не чинится настройкой, это делается руками и слезами, по-человечески, и другого способа нет. — Она посмотрела на него. — Ваша девочка это уже знает, кстати. Дети знают. Это вы разучились.

Он вздрогнул. Он не говорил ей про Нику.

— Уходите, — сказала Ирина, но не зло. — И заведите наконец часы. Я вижу, что стоят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.